ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Александр

КУПРИН

✣

Париж интимный

МОСКВА
2024

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К92

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты
работы художника *Жана Габриэля Домерга*

Куприн, Александр Иванович.

К92 Париж интимный / Александр Куприн. — Москва : Эксмо, 2024. — 608 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-204304-8

Книгу составили романы, рассказы и очерки Александра Ивановича Куприна (1870–1938), созданные им после Октябрьской революции. Эмиграцию Куприн ощущал как личную трагедию и в своем творчестве часто возвращался к русской истории («Однорукий комендант», 1923), к ярким впечатлениям своей молодости («Пунцовая кровь», 1926). Любовь к дореволюционной Москве освещает парижские очерки писателя, отлученного от Родины. Роман «Жанета» (1933) повествует о горькой судьбе нищего парижского эмигранта: бесконечно одинокий, он привязывается к встреченной им на улице маленькой бездомной девочке, но и эта радость оказывается для него недолговечной.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-204304-8

© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Колесо времени

Роман

Глава I

ГРЕНАДИН

До чего, дружок, я рад этой встрече! Посчитай-ка! От шестнадцатого года до двадцать восьмого — целых двенадцать лет не видались. Гарсон, еще два белого с гренадином! Вот, никак не могу приучить этого красавца наливать в стакан сначала чуточку гренадина, а потом уже доливать вином: так и смешивается скорее, и не надо ихних гнусных оловянных ложечек. Раз сорок ему говорил. Нет, привык по-своему, и ничем его не переупрямишь. Такой консерватор... Ах, милый мой, слезы мне глаза щипят. Встают давние, молодые годы. Москва. Охотничий клуб. Тестов. Черныши. Малый театр. Бега на Ходынке. Первые любвишки... Сокольники... Эх, не удержать, не повернуть назад колесо времени. Великое это свинство со стороны матери-природы.

Обидно вот что: встретились мы целый час назад. Ну, конечно, оба сначала не узнали друг друга, потом искренно обрадовались, крепко, по-братски, поцеловались. Но подумай: только теперь, и то с большим усилием — я нашел наконец тебя тогдашнего, прежнего тебя, самого предприимчивого из нас троих, веселых мушкетеров. В первый миг — признайся — обоим нам стыдно и жалко было глядеть друг на друга: так ужасно изжевали нас челюсти беспощадного времени, а злая жизнь покрыла наши лица, как корою, бороздами, морщинами, жестокими складками. Но, слава богу, теперь оттаяла, отпала вся наросшая кора. Ты опять тот же. Дай мне еще раз крепко пожать твои руки! Так! Здравствуй. Приветствую тебя в славном городе Тулузе. Гарсон! Литр бе-

лого вина. И оросите его гренадином. Оно спокойнее, если с запасом.

Ты говоришь — многовато? Пустяки. Вино легкое, а гренадин только отбивает привкус серы. Смотри, не обижайся. Подметил я твой моментальный взгляд, искоса. Знаю, у тебя мелькнула мысль про меня: «Не опустился ли?» Нет, дружище: я человек не опустившийся, а так сказать, опустошенный. Опустела душа, и остался от меня один только телесный чехол. Живу по непреложному закону инерции. Есть дело, есть деньги. Здоров, по утрам читаю газеты и пью кофе, все в порядке. Вино вкушаю лишь при случае, в компании, хотя сама компания меня ничуть не веселит. Но душа отлетела. Созерцаю течение дней равнодушно, как давно знакомую фильму.

Вот ты, давеча, вкратце рассказал о своем двенадцатилетнем бытии. Господи! что ни поворот судьбы, то целая эпопея. Какая-то дикая и страшная смесь мрачной трагедии с похабным водевилем, высоты человеческого духа со смрадной, мерзкой клоакой. Ты говорил, а я думал: «Ну, и крепкая же машинища человеческий организм!» А все-таки ты жив. Жив великой тоской по родине... жив блаженной верой в возвращение домой, в воскресающую Россию. Мои испытания, в сравнении с твоими, — киндершпиль, детская игра... Но в них есть кое-что занимательное для тебя, а меня тянет хоть один раз выплеснуться перед кем-нибудь стоящим. Трудно человеку молчать пять лет подряд. Так слушай.

Ты уж, наверное, догадался, что заглавие моего рассказа состоит только из трех букв «О н а»? Но здесь будет и о моей глупости, о том, как иногда, сдуру, в одну минуту теряет человек большое счастье для того, чтобы потом всю жизнь каяться... Ах! не повернешь...

В четырнадцатом году, как, может быть, ты помнишь, я сдал последние экзамены в Институте гражданских инженеров, а тут подоспела война, и взяли меня в саперы. А когда набирались вспомогательные войска во Францию, то и я потянул свой жребий, будучи уже по-

ручиком-инженером. Во Франции я был свидетелем всего: и энтузиазма, с которым встречались наши войска, и нашего русского героизма, а потом, увы, пошли митинги, разложение...

После армистиса мне нетрудно было устроиться близ Марсели на бетонном заводе. Начал простым рабочим. Потом стал контрмэтром, потом — шефом экипажа и начальником главного цеха. Много нас, русских, служило вместе; всё бывшие люди различных классов. Жили дружно... Ютились в бараках, сами их застеклили, сами поставили печи, сами устлали полы матами. У меня был отдельный павильончик, в две комнаты с кухонкой, и большая, под парусинным тентом терраса. Питались из общего котла бараньим рагу, эскарго, мулями, макаронами с томатами. Никто никому не завидовал. Да, что я тебе скажу: надумали мы всей русской артелью взбодрить, на паях, свое собственное дело: завод марсельской черепицы. Рассчитали — предприятие толковое... Но вот тут-то и случился со мною этот перевертон. Хотя, кто знает, может быть, я и вернусь когда-нибудь к этому черепичному делу?

Сначала-то нам скучновато было. Особенно в дни праздничные, когда время тянется бесконечно долго и не знаешь, куда его девать. Природа такая: огромная выжженная солнцем плешина, кругом вышки элеваторов, а вдали мотаются жиденькие, потрепанные акации и далеко-далеко синяя полоска моря — вот и весь пейзаж.

Одна только отрада в эти тягучие праздники и оставалась: закатиться в славный город Марсель, благо по ветке езды всего полтора часа... И компания у нас своя подобралась: я — бывший инженер, затем — бывший гвардейский полковник, бывший геодезист да бывший императорский певец, он же бывший баритон. Компания не велика, але бардзо почтива[1], как говорят поляки.

Люблю я Марсель. Все в ней люблю: и старый порт,

[1] Но очень добропорядочна (искаж. *польск.* ale bardzo poczciwa).

и новый, и гордость марсельцев, улицу Каннобьер, и Курс-Пьер-де-Пуже, эту сводчатую темнолиственную аллею платанов, и собор Владычицы, спасительницы на водах, и узкие, в размах человеческих рук, старинные четырехэтажные улицы, и марсельские кабачки, а также пылкость, фамильярность и добродушие простого народа. Никогда оттуда не уеду, там и помру. Впрочем, ты сейчас увидишь, что для такой собачьей привязанности есть у меня и другая причина, более глубокая и больная.

Так вот: однажды в ноябре, в субботу — скажу даже число — как раз 8 ноября, в день моего ангела, архистратига Михаила, зашабашили мы, по английской моде, в полдень. Принарядились, как могли, и поехали в Марсель. День был хмурый, ветреный. Море, бледно-малахитовое, с грязно-желтой пеной на гребнях, бурлило в гавани и плескало через парапет набережной.

По обыкновению, позавтракали в старом порту неизбежным этим самым буйабезом, после которого чувствуешь себя так, будто у тебя и в глотке и в животе взорвало динамит. Пошлялись по кривым тесным уличкам старого города с заходами для освежения, посетили выставку огромных, слоноподобных серых кротких першеронов и в сумерки разбрелись, уговорившись завтра утром сойтись на старой пристани, чтобы пойти вместе на дневной спектакль: афиши обещали «Риголетто» с Тито Руффо.

Я всегда, по приезде в Марсель, останавливался в одной и той же гостинице, на другом краю города, в новом порту. Называлась она просто «Отель дю Порт». Это — мрачное, узкое, страшно высокое здание с каменными винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посередине, стоптанные миллионами ног. Там, на самом верху, была низкая, но очень просторная комната. Она мне нравилась. Окна в ней были круглые, как пароходные иллюминаторы. Пол покрывал настоящий персидский ковер превосходного рисунка, но измызганный подошвами до нитей, до основы, до дыр. На стенах висели в потемневших облупившихся золоченых рамах старин-

ные гравюры из морской жизни. Эту комнату по субботам оставляли в моем распоряжении.

С хозяевами отеля я уже давно успел подружиться. Долго ли нам, русским, а в особенности ярославцам, как я?

Хозяин был добродушный четырехугольный неповоротливый человек. Марселец родом и бывший моряк, весь в морщинах, с ясным взором и спокойной душой. Хозяйка Аллегрия, в противоположность своему флегматичному мужу, была подвижная испанка, сильно расположевшая, но еще не потерявшая тяжелой, горячей южной красоты. Это она была настоящей самодержавной правительницей дома, а прислуживал во всех семи этажах и внизу, в ресторане, некто Анри, с виду настоящий наемный убийца, а по характеру самый веселый, проворный и услужливый малый во всей Марсели. Куда этому чернокудрому красавцу! Гарсон, еще один гренадин с белым!

Часов в семь я пришел в отель пообедать, занял уютный столик в углу, заказал себе кое-что и в ожидании спокойно сидел, думая о различных случайных пустяках и лениво оглядывая публику. Ресторан этот, на редкость для невзрачной части города, просторный и светлый, не только опрятно, но даже кокетливо содержимый. Мы с тобой сходим туда когда-нибудь, если будем в Марсели. Двери выходили на гавань, и от нее доносились вздохи и всплески волн и запах моря.

Какие диковинные посетители за столами!

Арабы в длиннейших бурнусах, перекинутых через плечо живописными складками: фески красные, черные и вишневые; зеленые и белые тюрбаны, чалмы, плетенные из маисовой соломы, итальянские колпаки, маленькие, полуголые, похожие на обезьян моряки, черные и блестящие, как вакса, с курчавыми, взбитыми, подобно войлоку, волосами; матросы разных стран, сидящие отдельными кучками и крепко стучащие стаканами о столы, пестрый скачущий гомон разноцветных слов, и откуда-то — лень поглядеть откуда — вкрадчивые звуки

гитары, сопровождающие сладкий тенор, поющий итальянскую песенку о том, как три барабанщика возвращались с войны, и у одного барабанщика был букет роз, а дочь короля, сидевшая у окошка, попросила: «Послушай, барабанщик, дал бы ты мне эти розы...» — «Дам тебе розы, если выйдешь за меня». А она отвечает: «Послушай-ка, барабанщик, пойди и спроси моего отца». — «Senti Sor Pré!»[1]

И вдруг произошел скандал. Какие-то цветные моряки, не то шоколадные, не то оливково-зеленого цвета, все, как на подбор, маленькие и сухие, но точно сделанные из стали, выпили лишнее, начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в ход кривые тонкие ножи. Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем то на клекот хищных птиц, то на свиное хрюканье, страшно выкатывая желтые белки и скаля друг на друга матово-черные зубы. И вот Аллегрия (что значит по-испански — «веселость») накидывает на себя яркую мантилью с бахромой, вытаскивает из волос розу, берет ее в зубы, подбоченивается и вызывающей походкой, раскачивая толстыми бедрами, с головой, гордо закинутой вверх, подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она точно преобразилась, помолодела и внезапно похорошела. Гневные карие глаза, ноздри, раздутые, как у арабской кобылы, красная роза в красных губах... Коротким повелительным движением, вытянув перед собой руку, она указала на дверь и с удивительным выражением высокомерного презрения, сквозь стиснутые зубы произнесла:

— Сортэ![2]

Ах! Что дала бы Сара Бернар за такой жест и за такую интонацию!

Матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты, и один за другим, гуськом, вы-

---

[1] Спроси у отца (*неаполит. диалект*).

[2] Прочь! (от *фр.* sortez)

шли осторожно из ресторана на согнутых ногах на цыпочках, скрипя тяжелыми морскими башмаками. Этот водевильный уход, в связи с величественной позой Аллегрии, был полон дикого комизма. Я захохотал так невольно, так свободно, как смеялся только в детстве на клоунских пантомимах.

И тут же я почувствовал, что спинка моего стула слегка трясется. Я взглянул вверх и сейчас же встал, чтобы дать место даме. И вот тут-то... нет, не бойся, я не слезлив... тут-то я с восторгом понял, что милостливая судьба или добрый бог послали мне величайшее счастье в мире. Почувствовал сердцем, но умом еще не понял.

Красива ли была она? Этого я не сумею сказать. Она была прекрасна. Если бы я был беллетристом — черт бы их всех побрал, — я бы смог ее описать: губы коралловые, зубы жемчужные, глаза как черные бриллианты или бархат, роскошное тело и так далее, и так далее, и так далее.

Она еще продолжала смеяться. Она сняла перчатки и бросила их на мой стол. Она аплодировала шутя хозяйке, и Аллегрия ответила ей серьезным поклоном. Хороша ли она была? И опять я скажу — не знаю. Знаю только, что о ней одной я мечтал с самых ранних, с самых мальчишеских дней. Мне показалось, что я знаю ее очень давно, лет двадцать, и как будто бы она была всегда моей женой или сестрой, и если я любил других женщин, то лишь — в поисках за ней.

Опять наши глаза сошлись в улыбке. Я думаю, что ничто так не соединяет людей, как улыбка. И не с улыбки ли начинается каждая истинная любовь?

Она села рядом со мной. На ней было черное шелковое платье, с черными кружевами. Она не была ни надушена, ни напудрена. Ее тело благоухало молодостью и свежестью.

Она спросила:

— Что вы себе заказали? Мне лень выбирать по прейскуранту.

Я ответил:

— Устрицы, рыбу соль, швейцарский сыр и бананы.

— Закажите то же и мне. А вино будет мое. Согласны?

И, не дожидаясь моего ответа, она постучала перстнем по мрамору и позвала гарсона.

Анри принес во льду бутылку шампанского вина, и когда я увидел марку «Мумм Кордон Руж», то немного испугался: если эта женщина так широко распоряжается, то во сколько же десятков франков она мне сегодня обойдется? Хватит ли? Говорю тебе, — в этот день я был дурак, а главное — так и остался дураком во все последующие дни. Я пробовал было сделать моему другу Анри строгие глаза, но напрасно, это уже был не мой Анри, а ее слуга и раб.

Да она почти и не пила. Ей дали маленькую серебряную ложку. Она взболтала вино, и когда оно выпенилось, только чуть-чуть пригубила. Ела она с удовольствием и очень красиво. А я сидел и думал: кто же она, эта женщина? Актриса? Международная шпионка? Очень дорогая кокотка? Развратная искательница приключений? Или может быть... она работает на процентах в этом кабачке? Не аргентинка ли она?

Анри принес закрытый счет, но подал его не мне, а ей. И опять не помогли мои гневные глаза. А она, небрежно взглянув на счет, только кивнула слегка головой. Тогда я рассердился, да и какой бы мужчина не рассердился бы на моем месте? Рассердился и обнаглел.

И спросил грубо:

— А кофе мы будем пить у меня наверху? Не так ли? Анри, принесите нам наверх кофе и ликеры.

Ах, аллах Акбар! Если бы мне еще раз в жизни услышать веселый стук ее каблучков, когда она быстро всходила на мой седьмой этаж! Если бы еще раз поглядеть, как она сама заботливо ухаживала за патентованным кофейным самокипом, как ласково она мне разрешила: «Курите, если хотите!» И не я, а она удлинила наш поцелуй. И она же первая отвела деликатно мои руки...

— Потом, — сказала она.

Глава II

ДУРНЫЕ МЫСЛИ

— Я прошу вас сесть, — сказала она, — и выслушать меня спокойно. Я хочу, чтобы вы поняли меня.

Она опустилась на диван, так близко ко мне, что наши плечи часто соприкасались, и я чувствовал порою лучистую теплоту и упругость ее тела. Сначала я думал: «Ну, к чему эти объяснения, после внезапного и фамилиарного знакомства? Ведь она не девочка, ведь ей лет тридцать, тридцать пять, — и, конечно, не девушка. Она, несомненно, знает, что ходят женщины к холостым мужчинам вовсе не для того, чтобы посмотреть редкие японские гравюры или, прихлебывая ликеры, развлечься дружеским разговором о спорте и последних премьерах. А особенно ночью».

Не сделал ли я с самого начала грубейшую ошибку против старой тактики любви? Ведь давно-давно сказано, что самые сладкие поцелуи вовсе не те, которые выпрашиваются или позволяются, а те, которые отымаются насильно; что каждая женщина, даже вполне нравственная, вовсе не прочь от того, чтобы ее стыдливость была преодолена пылким нетерпением, и, наконец, что параграф первой любовной войны гласит: потерянный удобный момент может очень долго, а то и никогда не повториться. И так далее... Вспомнился еще мне мимоходом немного рискованный анекдот из жизни веселой и прелестной графини де Вальвер, рассказанный ею самою, уже в ее преклонных годах.

На ее карету напали в Сенарском лесу разбойники. Предводитель банды, кстати, молодой, очень красивый и вежливый человек, не удовольствовался тем, что отобрал у графини все ее деньги и драгоценности, которые она отдала без сопротивления, но, — о, ужас! — очарованный ее цветущей красотой и невзирая на ее мольбы и крики, злодей отнял у нее то сокровище, которым женщина дорожит более всего на свете.

— Представьте, дамы и господа, — говорила де Вальвер, — вы можете мне не верить, но был один момент, когда я, вся в слезах, не могла не воскликнуть: «Oh, mon voleur, oh, mon charmant voleur!»[1]

Да, мой милый, такие анекдоты и дешевые афоризмы очень в ходу между нами, мужчинами, и не оттого ли мы так часто выходим из любовных битв мокрыми петухами и меланхолическими ослами? Уж лучше верить мудрому Соломону, который из своего обширнейшего любовного опыта вывел одно размышление: никто не постигнет пути мужчины к сердцу женщины. И надо тебе сказать правду: после нескольких слов моей странной незнакомки я почувствовал себя со стыдом весьма маленьким, весьма обыденным и весьма пошленьким человечком.

— Я не скрою, — говорила она ласково, — я видела вас раньше, и даже не один раз. Видела сначала на вашем цементном заводе. Я туда заехала за директором, но не выходила из автомобиля.

Меня очень приятно поразило, как вы разговаривали с патроном: руки в карманах рабочей блузы, короткие уверенные жесты, холодная вежливость, ни малейшего вида услужливости. Такую независимость у подчиненного можно увидеть только у англичанина да, пожалуй, у американцев. У французов — реже. Я подумала было сначала, что вы англичанин, но потом решила: нет, не похоже.

Когда мы с директором ехали в Марсель, то он в разговоре как-то сказал, что у него на заводе много русских и что он ими очень доволен. Работают не только руками, но и головой. Им не только не жаль, говорил он, повышать плату, но даже выгодно.

Тут я и поняла, почему ошиблась, приняв вас за англичанина. В вас очень много этого русского... как бы сказать, этого quelque chose de «Michica»[2].

---

[1] О, мой вор, о, мой очаровательный вор! *(фр.)*

[2] Нечто от «миши́ки» *(фр.)*.

Я удивился:

— Много чего?

— De «Michica», чего-то медвежьего. Пожалуйста, простите, я не хотела сказать ничего обидного. Это скорее комплимент. Я очень люблю всех животных и, как только есть возможность, хожу в зоологические сады, в зверинцы, в цирки, чтобы полюбоваться на больших зверей и на их прекрасные движения. Но медведей я обожаю! Напрасно на них клевещут, говоря, что они неуклюжи. Нет, несмотря на свою ужасную силу, они необыкновенно ловки и быстры, а в их позах есть какая-то необъяснимая тяжелая грация. Один раз, не помню где, я увидела в клетке необычайно большого бурого медведя. У него шерсть на шее была бела, точно белое ожерелье, а на клетке написано: «Мишика. Сибирский медведь». Сторож мне сказал, что этот медведь был подарен французскому полку русскими солдатами, которые после армистиса возвращались домой, в Сибирскую Лапландию. И с тех пор я уже не могу мысленно называть русских иначе, как «Мишика».

Я не мог не засмеяться. Она вопросительно поглядела на меня.

— Очень странное совпадение, — сказал я. — Мишика — это и мое имя, данное мне при крещении.

И я объяснил ей, как имя Михаил у нас превращается в Мишу и Мишку и как, неизвестно почему, наш народ зовет повсюду медведя Мишкой.

— Как странно! — сказала она и замолчала на несколько минут, пристально глядя на абажур висячей лампы. Потом, точно насильно оторвав глаза от огня, она спросила:

— Вы суеверны?

Я признался, что да.

— Как странно, — повторила она задумчиво, — как странно... Неужели это фатум? — И крепко приложила теплую маленькую ладонь к моим губам. И когда она потом говорила — то постоянно: или нежно гладила мои щеки, или, отделивши вихор на моей голове, навивала

колечками волосы на свои пальцы и распускала, или клала руку на мое колено. Мы были вдвоем, мои губы еще помнили ее недавний неторопливый поцелуй, но предприимчивость кентавра уже покинула меня.

Она продолжала:

— Я люблю русских. В них бродит молодая раса, которая еще долго не выльется в скучные общие формы. Я ценю их мужество, твердость и ясность, с какой они несут свои несчастия. Мне нравится, как они поют, танцуют и говорят. Их живопись изумительна. Русской литературы я не знаю... Пробовала читать, чувствую какую-то большую внутреннюю силу, но не понимаю... не умею понять. Скучно...

— В другой раз я видела вас в соборе Notre Dame de la Garde, вы ставили свечку Мадонне. В следующий раз я видела, как вы с вашими друзьями — вас было трое — наняли лодку у старого кривоглазого Онезима и поплыли на остров Иф. Скажу вам без лести, вы отлично гребете. И последний раз — сегодня. Признаюсь, я была немного экстравагантна, и вас это немного покоробило. Не правда ли? Но уверяю вас, я не всегда бываю такая. Вы не поверите, я иногда очень застенчива, а застенчивые люди склонны делать глупости. Мне давно хотелось познакомиться с вами. Мне казалось, что в вас я найду доброго друга.

— Друга! — вздохнул я меланхолично.

— Может быть, и больше. Я ничего не знаю наперед. Не придете ли вы завтра в полдень в этот же ресторан? Предупреждаю, я вам скажу или очень, очень много, или ничего не скажу. Во всяком случае, завтра в двенадцать. Согласны?

— Благодарю вас. Я здесь ночую. Может быть, проводить вас?

— Да, только до улицы. Внизу меня ждет автомобиль.

Я светил ей, спускаясь по крутой лестнице. На последней ступеньке я не выдержал и поцеловал ее в затылок. Она нервно вздрогнула, но промолчала. Удивительно: ее кожа нежно благоухала резедой, так же, как ею

пахнет море после прибоя и шейка девочки до десяти лет. Мальчишки — те пахнут воробьем.

«Monsieur Michica et madame Reseda», — подумал я в темноте по-французски и улыбнулся.

Глава III

СУПЕРКАРГО

Вообрази себе большую бетонную комнату, в зеленоватом тусклом освещении. В ней нет ничего, кроме деревянного, некрашеного стола, на котором аккуратными рядами разложены штук тридцать-сорок голландских печных кафелей, ну, вот тех самых изразцов с незатейливым синим рисунком, которые нам так были любы на наших «голанках». И на каждой из этих плиток мне приказано кем-то раскладывать правильными линиями, в строгом порядке, старые почтовые марки разных цветов, годов и стран, каждую — по своей категории. Но огромная бельевая корзина, стоящая на полу, подле меня, переполнена марками свыше верха. Когда, черт возьми, окончу я эту идиотскую работу? Глаза мои устали и плохо видят; руки тяжелы, неловки и не хотят меня слушаться; марки прилипают к пальцам и разлетаются во все стороны от моего дыхания.

Но не это самое главное. Самое важное в том, что окончания моей работы ждет нетерпеливо какая-то знакомая, но забытая мною, непонятная женщина. Она невидима, но угадывается мною. Она — вроде колеблющейся неясной фигуры духа на спиритических сеансах или туманного бледного образа, как рисуют привидения на картинах, и в то же время я знаю, что она телесная, живая и теплая, и чем скорее я разложу по местам марки, тем скорее увижу ее в настоящем виде. Надо только спешить, спешить, спешить...

Я просыпаюсь от спешки. Ночь. Тьма. Далеко в порту тонко, длинно и печально свистит катер или паровo-

зик. Я никак не разберусь, где левая, где правая сторона кровати, и долго шарю руками в черной пустоте, пока не натыкаюсь на холодную стену. Дыхание у меня коротко, сердце томится. Нахожу кнопку и надавливаю ее. Свет быстро разливается по комнате. Смотрю на часы: какая рань. Два без десяти.

И опять засыпаю. И опять гладкие, зеленоватые бетонные стены, опять белые сине-узорчатые изразцы, опять капризные, проклятые марки... опять загадочный, видимый и невидимый образ женщины, и опять просыпаюсь с томлением в сердце. Курю, пью воду, гляжу на часы, укладываюсь на другой бок и опять засыпаю и вижу тот же самый сон, и снова и снова... Мучение. Я знаю давно, что эти надоедливые, какие-то многостворчатые составные выдвижные сны снятся после больших душевных потрясений или накануне их.

Последний раз я проснулся оттого, что моя постель внезапно затряслась от мелких содроганий. Ревел в порту огромный океанский пароход. Ревел поразительно низко, густо и мощно, точно под моей комнатой, а на черном фоне этого апокалипсического рева вышивал золотые спирали своей утренней песни ничем непобедимый петух. Из узких прямых прорезей в окнах струился параллельными линиями голубоватый свет утра.

Ночные сонные образы еще бродили неуловимо в полутемной комнате: бетонная комната, изразцы, марки, нелепый труд, отяжеление сердца... Сны ведь долго не покидают нас; их вкус, их тон иногда слышатся на целый день. Но они таяли, таяли, а когда я распахнул настежь ставни, то исчез и их отдаленный отзвук.

Было семь часов. Можно было бы разбудить Анри, но я предпочел спуститься вниз. Ресторан был еще заперт, а выход из отеля был на внутреннем крючке. Я вышел на улицу, прошел налево и в маленьком кабачке угольщиков выпил кофе с ромом. Потом вернулся домой и, не раздеваясь, крепко заснул — без снов.

Точно в десять часов, как и было условлено, ко мне